АННА РЕВЯКИНА
Родилась в Донецке в 1983 году. Член Союза писателей России, Союза писателей ДНР и Союза писателей Республики Крым. Стихи переведены на девять языков. Обладатель и финалист множества международных и национальных премий, в том числе Гран-при VIII Международного литературного фестиваля «Чеховская осень», специального приза «Слова на вес золота» еженедельника «Аргументы и факты», Национальной российской премии «Лучшие книги и издательства года — 2018» в номинации «Поэзия», премии «Книга года» (в соавторстве) и др. Автор семи книг.

АНФЕЛЬЦИЯ*

I
Страх

Откуда он берется, этот страх?
Вот белый лист, не рукопись еще.
И по нему на почерка санях
еще мурашки не ползут. И счет
неловко открывать. Сияет ночь.
Какая странная здесь близкая луна.
От берега идет такая мощь,
как будто рядом началась война,
как будто зреет ярости бутон
под толщей вод стерильной белизны.
Для каждой головы здесь свой патрон.
Здесь свой патрон для каждой головы.

II
Беломорье

Драги-драги, драги-драги. Это магия-магия...
По малой воде босая идет Анфельция.
Здесь куда ни посмотришь – лагерь.
Ни одной распахнутой дверцы.

А Анфельция все идет да идет.
Беломорье под стопами ее ластится.
Здесь куда ни посмотришь, все ровно наоборот.
Притирается Россия и ее части.

Папка мой, – говорит, – самый главный косарь.
Косит травушку, косит родненькую.
Он с матёры** Анфельции привез букварь –
книжечку зеленую тоненькую.

Драги-драги, драги-драги. Это магия-магия...
По малой воде босая идет Анфельция.
Рассказать тебе, как у них тут было на архипелаге?
Так же страшно, как у нас сейчас в Донецке.

III
Митрофанушка Соловецкий

Прадед мой, ну ты как, Митрофанушка Соловецкий.
Я приехала к тебе ровно век спустя.
Я уверена, что ты слыл тут орешком грецким, –
твердая скорлупа.

* Публикуется в сокращении.
** Матёра – материк.

Закрываю глаза. Я живу тут в комфортном номере,
теплый душ, белые простыни, свет не гашу в ночи.
Мы же даже не знаем, в каком ты году тут помер,
мне показывали кирпичи.

Красные, черные, с отпечатками человских ладоней.
Может быть, что какая-то из них твоя?
Или все же под громадной ногой СЛОНовьей
ничего от тебя

не осталось, никакого следочка малого,
никакого оттиска, не у кого спросить.
Мне о тебе рассказывала твоя внучка, моя мама,
в прошлое нить.

Говорила, что от тебя остались сапоги кожаные добротные
да бабушкины разговоры, полные вдовьих слез.
А дети твои все выросли, Иван стал плотником,
похоронен в городе роз*.

А Настя, счастье твое, родила мою маму почти что в сорок.
Потом моя мама родила меня – ее позднюю умницу.
А сапоги мы твои храним. Они оказались сорок второго,
сын мой хотел в них на улицу.

Для форсу или еще с какой подростковой целью,
да только бабушка заголосила: «Сними, дурак,
не в пору они, не в пору они тебе». Загородила собою двери.
Не в пору, сынок, не в пору.
Да будет так...

IV
Память

Письма неотправленные,
письма отравленные
любовью и болью.
Писались чернилами, потом, слезами, кровью,
почерком кружевным, запятыми да точками бисерными.
За какое-то время до выстрела.
Разреши поделиться мыслями...

А как вышло-то так, что теперь наша память,
этих мест святых наша рана,
принадлежит не нам, а нам лишь магнитики ширпотребные,
принадлежит тем, кто придумал формулу слов «генетическое отребье»?
Как так вышло, что горюшко мое, мою память о прадеде
отобрали и сделали гаденькой-гладенькой,
что тот валун из фундамента каталажки,
чем-то навроде лакмусовой бумажки.

* Город роз – Донецк.

Как так вышло, что то, на чем мы стоим,
вкопанные по животы да по плечи,
превратилось не в светлый дым
от поминальной свечки,
а в браваду, в расковыривание гвоздем,
в шрам людоедства, в критический пост.
Мой прадедушка стал для этой земли золотым зерном
и теперь он во весь свой рост
встал и требует: «Говори!
Говори и память не отдавай».
Ему было то ли сорок два, то ли сорок три,
когда он из ада попал в рай.

V
Секирка*

Сидели они на жердочках, словно птицы.
Росли у них на спинах голубиные крылья.
Были кирпичного цвета их немолодые лица.
И пахло страхом. Страх пахнет гнилью.

Тут сколько ни пересказывай, все равно мало,
тут сколько ни поминай, все равно всех не помянешь.
Прадед мой явился прям там, во храме,
ровесник мне, моложавый поджарый старец.

Я писала записочки, разделяя живых и мертвых.
«А у Господа живы все», – сказал иронично-колко.
А потом поэта процитировал – про статус жертвы.
И еще показал мне синюю крошечную наколку.

VI
Народ

Мой прапрадед – купец первой гильдии –
никогда не видел свою правнучку Лилию,
но она получила от него больше,
чем изумрудную брошку,
спрятанную за подкладкой.
Он передал ей хватку.

Мой прадед умер в концлагере Соловецком,
не оставил вовсе никакого наследства,
но вся семья после его кончины
находила причины
никому ничего не рассказывать.
Говорили только, что поняли с одного раза.

Мой дед прошел две войны, был ранен трижды.
За двором у него росли три крученых вишни.

* Секирка – мужской штрафной изолятор в Вознесенском храме на Секирной горе.

Его первая женщина загуляла с немцами.
Вторая была примерной. Со второй они не были венчаны,
но прожили полвека, а может, и больше, со счета сбились,
в бедности, которой тогда гордились.

Мой отец был физиком с идеальным почерком.
Я была его младшей любимой дочерью.
Неудавшейся пианисткой – кисти-циркули.
Мы с ним вместе читали романы Пикуля.
И как будто бы даже были счастливы в девяностые,
а потом я стала взрослой.

Мой сын смешанной крови еврейско-русской,
мало говорит, много чувствует.
И на его долю тоже уже выпало всякого.
У него и моего прапрадеда характеры одинаковые.
Девятнадцатый август разменял недавно
купца первой гильдии прапраправнук.

Говорят, человек живет в памяти трех поколений после,
затем исчезает, память о нем выкуривается папиросой.
И кажется, что человека никогда и не было.
И кажется, все с листа начинается белого.
Но это не так, поверь мне, я не помню, откуда знаю,
что все они присматривают за нами из рая.

Затертое слово «народ». О чем оно? Это слово.
О том, что прапрадед мой в моем сыне родился снова.
О том, что у каждого русского за спиною невидимый ранец,
в котором прапрадед купец и дед, что был трижды ранен,
отец с идеальным почерком и прадед с наколкой синей.
Затертое слово «народ» на контурной карте России.

VII
Родинки

Думаешь, это я брежу, сошла с ума от горя,
нет, то море Белое выступает порами,
потом точек на бумагу каплет, кляксами рифм,
в которых и дім, и дым, и Крым, и прадедушка Митрофан.

Обещал мне прийти под утро,
красивым, отмытым, реабилитированным.
В куртке с надписью Don Abibass.
Сижу на втором этаже с сердцем заминированным.

Пришел! Пришел, но чумаз,
а все равно красивый, как Боженька,
ясный, как свет соловецкого маяка.
Принес в дар ложку, обычную ложку,
три картофелины, два буряка,
половину моркови, лаврушку да лист капустный.

Вскипятил воду, чего-то там наварганил, разлил по тарелкам.
Зачерпнула, а в ложке пусто.
Зачерпнула, и снова пусто...

Длинная стрелка
застряла на
                без
                четверть смерть.
«Сколько той жизни, – хохотнул в кулак, –
но самое главное в ней
                с ро́дными набыться и посмотреть,
хоть одним глазком посмотреть,
как родинки моей драгоценной жонки
станут носить потомки».

* * *

Вот тебе, Анфельция, лагерная моя ложка.
Запомни, Анфельция, русский народ – матрешка.
Из большой достаешь среднюю, из средней еще усредней.
Десятки, сотни, тыщи, муллионы людей.
Сижу внутри глубоко-глубоченько-глыбоко.
Маленькая такая матрешечка для брелока.
А вынь меня, и большая станет пуста-пустехонька.
Будет тебе охать.

Будет тебе причитать, Анфельция, об ушедшем.
Поздравляю тебя, Анфельция, со всем прошедшим.
На часах меж тем без десяти кончина.
Береги мужчину, Анфельция, береги своего мужчину.
Вы, бабы, структуры воловьей,
мед уст со звериной кровью,
а мы – шеи широкие да ноги глиняные,
с мамкой-землею связаны пуповиной,
потому и живем коротко
между молотом и Молотовым*,
между молотом и молохом.

VIII
Счастье

– А было ль счастье?
– Было, Анфельция, было,
твоя прабабушка сильно меня любила,
да так любила, что каждому говорила.
А я ее как любил, до последнего вдоха-выдоха.
До самой двери в бессмертье – из ада выхода.
Я и сейчас люблю. И ее, и все наше потомство.
Когда средь осенних туч, сквозь дощ, луч солнца
чертит в твоем блокноте еще одну линию,

* «Я оправдываю репрессии, хоть там и были крупные ошибки...» – В. М. Молотов.

то это мы на тебя смотрим с небес с Фотинией,
и радуемся, и кланяемся, и передаем приветы.
С некоторой задержкой, но к нам приходит и «Литгазета»,
и все те книги, над которыми с блохоловкой ночами
ты сидишь в своем городе – граде новой русской печали.

* * *

Человек человеку – приговор и расстрел.
Человек человеку – очередной обстрел.
Нас везли во тьме
в еще большую тьму
на теплоходе Глеб Бокий
учить актуальные исторические уроки.
Теперь другие уроки, не менее исторические.
Мамка моя покойная была из-под Геническа.
Папку из-под Киева занесло за каким-то...
Родословное древо у нас, что макет лабиринта.
Это еще без предков моей Фотинии драгоценной.
Знаешь, я мечтал, что выживу и куплю ей платье концертное.
Синее в пол с белым воротничком, кружевной нижней юбкой.
В мясорубке
несправедливости
я мечтал, что моя голубка
выйдет на сцену снова, все еще тонкая, но уже беременная нашим третьим,
и споет стихи про любовь.
Любовь, навечно повенчанную с лихолетьем.

IX
Сердце

под нагрузкою
под разгрузкою
бьется сердце
бьется русское
сердце атомное
сердце точное
стук да стук
сердце-молоточек
дзынь да дзынь
сердце-колокольчик
бьется сердце
и добивается

роза красная
в мире сером

ты прислушайся к сердцу русскому
под нагрузкою под разгрузкою
от рождения до бессмертия
милосердия милосердия
стон предсердий

X
Чрево

И не знаю, рассказывать ли, а может, смолчать,
наблюденье мое не из самых точных.
Сорок недель носит ребеночка в чреве мать,
растит ему сердце, легкие, головушку, позвоночник.
Из себя растит, расстается с плотью и частью души,
а он, скрюченный, в чреве ее – свет нездешний.
Ты, Анфельция, то, что говорю тебе, наверное, запиши.
А может, и не записывай, так безгрешней.
Носит маменька крошку хлеба внутри, но еще не хлеб.
Носит за тонкой стеночкой дитятко ненаглядное.
Ждет, чтобы сыне ее подрос и окреп,
молится перед неугасимой лампадою.
Богородице молится: пусть выживет, доживет,
приведет невесту, родит семерых и больше.
Ходит мамка туда-сюда, гладит рукой живот,
и чем ближе к родам, тем стеночка между мирами тоньше.

Он, конечно, вырастет, поживет свое, а в конце пути,
когда ходики на стене остановятся без пяти...

Где ты видел ходики на стене в карцере под Маяком?
Я не видел, но мне казалось. Так ли, тик ли... Чудовищным молотком
по затылку баба щербатая, самая некрасивая баба в мире,
трахнет прямого аки горбатого на краю могилы.

Общей могилы, что потом и не разберешь, где чей
сыне рожениц страны несчастной моей.
И лежат спящие вечным сном, снова младенчики
в чреве земли-матушки мальчики наши, кузнечики.
Руки за спинами связаны, в головах ветер.
Будет ли кто в ответе за них? Никто не будет за нас в ответе.

XI
Иов

Это будет повторяться снова, снова и снова –
история многострадального Иова.
Слово в слово.
Вон он жил –
светлоголовый Иов –
не жалел слов,
славил Господа
почитал,
считал овец, складывал, вычитал.
А потом весь его капитал
поделил на нуль
диавольский поцелуй.

Прямо в лоб целовал диавол каждого из детей:
троих дочерей, семерых сыновей.
Никого не осталось, чтобы отца обнять,
только их мать
выла, рвала волосы:
«Отрекись, Иов,
как дурак сидишь,
струпья скребешь черепком глиняным.
Страданье безвинное –
то значит, что нет Бога, нет Его промысла.
Ох, Иов, Иов, ничего не осталось от тебя, кроме голоса,
вот и скажи, прокляни».
Со. Лов. Ки.

* * *

Ни в одной книге об этом не сказано,
никому не пришло на ум.
То сам диавол, завладевший человским разумом,
забирался на высокий валун
и глядел на море,
губитель да рукоблуд,
говорил «я велик», а был все равно маленьким,
что кожный струп
на теле Иова,
на теле страны моей буйноголовой.

А как звали? Ногтев, Эйхманс или Бухбанд*.
Не так и важно.
Вот скажи мне, откуда в человеке талант?
От Господа, – скажешь.
Мол, целовал Отец
перед выходом,
и родился младенец.
Вдохнул, выдохнул,
заорал, присосался к груди,
не изувер совсем, новенький человечек.
А потом диавола в себе разбудил
и как давай калечить,
губить,
катовать.
К несчастію рукою железною загонять.
Не плачь, Анфельция, их никого уж нету,
лежат костьми изнутри планеты,
А диавол? Диавол вечен.
Присматривается к человечине.
Присматривается к человеку
в любом веке.

* В разные годы начальники Соловецкого лагеря особого назначения.

* * *

Святцы. Библия. Стиры*.
Как думаешь, Фотиния меня простила?
По-бабьи ответь, вот ты бы простила покойного?
А конвойного?
А стукача?
А палача?

Простила.
Простила.
Тебя бы простила.
А этих бы ненавидела люто до самой смерти.
Со всей огромной бабьей воловьей силой.

Один из новозамученных все сожалел, что черти
не каются и от этого больно ему, почти умерщвленному.
Ему от этого было больно, а черти все рыготали, хвостами били.
Палачи, стукачи, надзиратели и конвойные –
нераскаянные. Штабелями легли в могилу.
Полетели головы буйные – лысые курчавые рыжие.
Полетели головы. Полетели.
А ты, дед, выжил. Погиб, но выжил,
и в девяносто умер в своей постели
в кругу семьи, под лепет правнука новорожденного,
подержал напоследок его пяточки курносейные.
И небо синее бездонное бескордонное
открылось – звездами соловецкими все усеяно.

XII
Рай

Самые жаркие да кровавые
битвы всегда за рай.
Избави нас, Господи, от лукавого.
Избави нас, детей твоих грешных.
Рождаемся бессловесными,
растем картавыми,
держимся что есть силы за край
мамкиной юбки. За ней начинается тьма кромешная.

И ничто не зорко: ни глаз, ни кончики пальцев, ни сердце.
Все тьма, все бельма, все беспросветно.
Кроме островов этих – Соловецько**.
Где и рай, и ад – всё одни, возведенные человеком стены.
На разрыв помни об этом, до последней капли кровушки русской,
и тогда есть шанс, что и сегодняшний ад станет раем звенящим.
Береги это чувство, слышишь, убереги это чувство,
меня помяни. Всех нас помяни. И живи. Живи, моя хорошая, настоящим.

* Самодельные игральные карты (тюремный жаргон).
** Соловецкие острова (поморский говор).

* * *

То прошло все, о чем болит,
о чем стонут соловецкие стены.
О чем помнит Голгофо-Распятский скит*.
Жизнь – мгновенье, и смерть мгновенна.
Хоть и тянется день порой, что резиновый,
хоть и длится ночь бессонная, словно лагерная.
Закрой глаза мои /для покоя вечного/, Анфельция, светло-синие.
Закрой глаза свои /для сна предрассветного/, Анфельция, орехово-карие.
Что ты видишь? Свет, Анфельция, только свет,
тусклый огонек свечечки поминальной.
Это и есть мой ответ, Анфельция, на все вопросы твои ответ.
А о пустяках в другой раз как-нибудь погутарим.

* * *

А наутро разбудит тебя, Анфельция, колокол-благовест.
И пойдешь ты в старухи статные из вчерашних невест.
Так летит эта жизнь, коротенькая и злющая,
словно стрела в небо пущенная.
Целься в небо, всегда только в него, родная.
Я теперь все вижу – от рая и до самого края.

Гидра

«С историей надо жить честно и мирно,
история – гидра.
Отрубишь одну башку,
поднесешь очередному божку,
а на месте ее вырастут две.
Еще страшней.
Ну, бывай, Анфельция!
Передавай привет внучку.
Да. И если вдруг на балкон в ноябре
прилетит к тебе парочка голубей,
не прогоняй.
Шепни им, чего хошь.
А чего ты вообще по жизни хошь?

**** ***** ********

Нет, с этим не помогу.
Это уже по вашим мозгам.
А по мелочи передам».

Соловки – Москва, сентябрь – ноябрь 2023 года

* 18 июня 1712 года совершилось чудесное событие. Преподобному Иову в тонком сне явилась Пресвятая Богородица с преподобным Елеазаром и сказала, что «сия гора нарекается Голгофою. На ней же имать быти великая церковь Распятия Господня на верху горы и скитом Распятским назовется».